

18+

Ольга Баранова

Русь Великая



Ольга Баранова

Русь Великая

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Ольга Баранова, 2026

Предлагаю путешествие в прошлое. В Великую Русь. Пройтись по дорогам Великих правителей. Окунуться в их жизнь. Эта увлекательная экскурсия специально для вас. Приятного вам чтения, друзья мои.

18+

ISBN 978-5-0069-4643-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Русь Великая

— — Послесловие для читателя

Пролог. Северный ветер

Часть первая. Чужой среди своих

Часть вторая. Послы

Часть третья. Решение

Часть четвертая. Вокняжение

Часть пятая. Начало

Эпилог. Наследие

Пролог. Утро на Соборной площади

Часть первая. Сын своего времени

Часть вторая. Первые шаги

Часть третья. Женильба на Византии

Часть четвертая. Покорение Новгорода

Часть пятая. Стояние на Угре

Часть шестая. Строительство державы

Часть седьмая. Завещание

Эпилог. Третий Рим

Пролог. Смута и призвание (1613)

Эпилог. Крах (XX век)

СКАЗКА

ОТ ЛИЦА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

.КОРОТКАЯ ЗАРИСОВКА

Господин Великий Новгород: Путешествие сквозь века

Вступление. Портал во времени

Наш двухдневный тур начинается необычно. Мы не просто выходим из автобуса на парковке у гостиницы «Волхов». Мы выходим на берег реки, которая была главной улицей страны задолго до того, как Москву называли Москвой.

— Смотрите под ноги, — говорю я своей группе. — Здесь каждый камень — страница учебника.

Перед нами — древний Волхов, могучий и спокойный. Слева возвышаются стены Новгородского кремля, или, как говорят здесь старожилы, Детинца. Справа — Ярославово дворище, где кипела торговая жизнь. Мы стоим на мосту, который делит город пополам. Но на самом деле этот мост делит пополам всю русскую историю.

Остановка первая. IX век: Рождение Руси

Мы закрываем глаза. Когда мы их открываем, вокруг нас уже не XXI век. Исчез асфальт, исчезли машины. Мы стоим на высоком холме среди густого леса. Внизу сверкает гладь озера Ильмень.

— Именно сюда, согласно «Повести временных лет», пришли славянские племена, — начинаю я рассказ. — Словене, кривичи, меря... Они жили, «володели каждый своим родом», но не было между ними порядка. И тогда в 862 году случилось событие, которое мы называем «Призвание варягов».

Перед нашим мысленным взором проплывают ладьи с полосатыми парусами. На берег выходят суровые воины в рогатых шлемах (хотя на самом деле рогатых шлемов они не носили, но легенда есть легенда). Князь Рюрик с дружиной.

— Здесь, на истоке Волхова, Рюрик заложил первый камень будущей империи. Но сам город тогда назывался просто — Городище, или

Рюриково городище. Отсюда пошла земля Русская.

Мы идем вдоль берега. Еще нет ни соборов, ни каменных палат. Только деревянные срубы и запах смолы.

Остановка вторая. XI век: Золотой век Софии

Переносимся на 200 лет вперед. Лес расступился. Перед нами уже не маленькое поселение, а огромный город. Над деревянными стенами взмывают в небо купола.

Мы входим в Детинец. Перед нами — чудо.

— Перед вами Собор Святой Софии, — объявляю я. — Заложен князем Ярославом Мудрым в 1045 году. Представляете? До Крещения Руси еще и ста лет не прошло, а здесь уже стоит каменный гигант.

Мы подходим ближе. Стены из белого камня и плинфы (плоского кирпича) помнят руки древних зодчих. Я рассказываю легенду:

— Говорят, когда строили собор, мастера расписывали купол фреской с изображением Христа Вседержителя. Наутро приходят — а рука у Христа сжата в кулак. Переписали. Наутро — опять кулак. Взяли и оставили. А потом случилось чудо. Услышал новгородец голос: «В руке моей держу Великий Новгород. Когда рука разожмется — городу конец».

Мы входим внутрь. Полумрак, мерцание свечей, древние лики святых смотрят на нас со стен. Воздух здесь тяжелый от времени.

— Обратите внимание на Магдебургские врата, — показываю я на западный вход. — Их привезли из Европы как военный трофей. Видите фигурки? Это библейские сцены, но кузнецы в шутку изобразили себя. Смотрите, вон тот человечек с молотом — автопортрет средневекового мастера.

Остановка третья. XII век: Расцвет республики

Мы выходим из собора, и время снова меняется. Теперь мы не просто в Киевской Руси. Мы в Новгородской республике. На площади шумно. Люди собрались на вече.

— Здесь нет князя-самодержца, — объясняю я туристам. — Князя приглашают. Если князь не нравится, ему указывают на дверь: «Поклонись и уходи, дорогой». Власть у бояр, у купцов, у самого простого смерда, если у него есть голос на вече.

Звенит колокол. Здоровенный мужик в кожухе кричит, перекрывая шум:

— Почто князя зовем? Дань велику просит! Али своих мало? Гнать его!

Мы пробираемся сквозь толпу к Ярославову дворищу. Рядом — Торг. Здесь пахнет рыбой, воском, медом и заморскими пряностями.

— Перед вами Готский двор, — показываю я на массивные здания. — Немецкие купцы из Ганзы. Они живут здесь закрытой колонией. Свои церкви, свои склады, свои законы. Новгород тогда — главное окно в Европу. Пушкину везете? Воск? Мед? Сюда! А отсюда — серебро, сукно, вина.

Остановка четвертая. XIII век: Александр Невский

Шум торга стихает. Небо темнеет. В воздухе пахнет грозой. Над Русью нависла страшная угроза: с востока идут монгольские орды, с запада — немецкие псы-рыцари.

Мы видим всадника на коне. Молодой, но с твердым взглядом. Это князь Александр Ярославич.

— Новгородцы! — кричит он. — Не вздумайте кланяться Орде! Здесь, на северо-западе, мы держим щит. Немцы рвутся к нашим землям, шведы хотят отрезать нас от моря. Но мы выстоим!

1240 год. Невская битва. 1242 год. Ледовое побоище.

Мы не видим самих сражений, но чувствуем, как дрожит земля. Новгород выстоял. Он не был сожжен Батыем, как Рязань или Киев. Он откупился данью, сохранив свою культуру и храмы.

— Благодаря этому, — говорю я, останавливаясь у памятника Тысячелетию России (который мы увидим позже, уже в наше время), — здесь сохранились уникальные фрески, книги, берестяные грамоты. То, что погибло на юге, уцелело здесь.

Остановка пятая. XV век: Закат вольности

Время бежит быстро. Мы видим, как растут стены, как строятся новые монастыри: Юрьев, Антониев, Варлаам-Хутынский. Но тучи сгущаются.

Москва набирает силу. Иван III, государь всея Руси, больше не хочет терпеть новгородскую вольницу.

1471 год. Битва на реке Шелони. Москва разбивает новгородское ополчение.

1478 год. Финальный аккорд.

Мы стоим на той же вечевой площади. Но колокол молчит. Его снимают с башни, чтобы увезти в Москву.

— Вечевой колокол снимают! — шепотом говорят в толпе.

— Конец, братцы, конец вольности.

Я подвожу группу к стене Детинца.

— Слышите? Вроде бы тихо. Но старожилы говорят, что в безветренную погоду, если приложить ухо к камню, можно услышать звон того самого колокола. Он не умер. Он спит. И ждет своего часа.

Финал. Возвращение в XXI век

Яркая вспышка — и мы снова на мосту через Волхов. Перед нами тот же пейзаж: Кремль, собор, купола. Рядом проезжают машины, туристы щелкают фотоаппаратами.

— Вот мы и прошли сквозь тысячу лет, — подвожу итог. — Мы видели рождение государства, расцвет торговли, звон вечего колокола и его молчание. Что осталось?

Мы идем к памятнику «Тысячелетие России», который стоит прямо в центре Кремля. Огромный шар-держава, отлитый из бронзы, окружают фигуры правителей, полководцев, просветителей.

— Этот монумент поставили в 1862 году. На нем — Рюрик и Петр Первый, Пушкин и Суворов. Но знаете, что самое главное? — Я обвожу рукой горизонт. — Самое главное, что мы с вами сейчас здесь стоим. Город живет. Церкви действуют. В университете учатся студенты. А в земле до сих пор находят берестяные грамоты — письма простых людей, которые жили, любили, торговали и сражались так же, как и мы.

Великий Новгород — это не просто музей под открытым небом. Это живое сердце нашей истории. Спасибо за внимание, дорогие экскурсанты. Наша экскурсия окончена, но история продолжается.

— — Послесловие для читателя

Конечно, в одну экскурсию невозможно вместить всё: тут и Ярослав Мудрый, учреждавший первые школы, и трагедия опричнины Ивана Грозного, и оккупация во время Второй мировой войны, когда город был практически стерт с лица земли, а потом восстал из руин, как птица Феникс.

Но главное, что увозит с собой каждый, кто побывал в этом путешествии — это чувство причастности к чему-то очень древнему и очень настоящему.

Княгиня Ольга!

Мудрость, омытая огнем

Осенний ветер гнал по Днепру седые волны, когда ладьи древлян причалили к подножию киевских гор. Послы были одеты в богатые меха, но в глазах их светилась не просьба, а горделивое превосходство. Они пришли сватать за своего князя Мала — вдову князя Игоря, убитого ими же в древлянских лесах.

Ольга приняла их в гриднице. На ней был темный, почти монашеский плат, скрывающий волосы, но осанка ее была прямее княжеского стяга. Ей было чуть больше тридцати, но в неподвижном лице и пристальном взоре читалась та тяжелая мудрость, что приходит после потерь.

Выслушав речь послов о том, что её князь «акы волк восхищая и грабя», а их князь Мал «добр и кроток», Ольга не всплеснула руками, не закричала. Она лишь склонила голову, словно соглашаясь.

— Люба мне речь ваша,— тихо произнесла она, и послы

переглянулись, довольно заулыбавшись. — Муж мой не воскреснет из мертвых. Хочу воздать вам честь завтра перед людьми своими. Ступайте в свои ладьи. Завтра пошлю за вами.

Ночью Ольга не сомкнула глаз. Она стояла у высокого окна терема, вглядываясь в темноту, туда, где на другом берегу стоял Искоростень. Перед её внутренним взором стоял Игорь — не великий князь, а просто уставший муж, которого она провожала в тот последний поход. Она помнила, как он поцеловал её на прощание, как пахло от него полыньёю и дымом походных костров.

Наутро она отдала приказ.

Когда древляне, гордые и важные, сидели в своих ладьях, ожидая почетного шествия, киевляне подхватили эти ладьи на руки. Но понесли их не к княжескому дворцу, а к заранее вырытой на дворе терема огромной яме. Послы сначала засмеялись, думая, что это такая игра или диковинный обряд. Но смех оборвался, когда ладьи грузно опустились на дно ямы, и сверху глянуло на них суровое лицо Ольги.

— Добра ли вам честь? — спросила она. Голос её звенел от сдерживаемой ярости. — Вы говорили, что я достойна вашего князя. Так знайте же: в этой яме вам лучше, чем моему князю в его могиле.

И по её знаку яму засыпали живьём.

Но это была только первая месть.

Ольга знала: язычники чтят силу и хитрость. Если она просто пойдет войной, это будет обычная резня. Она же хотела, чтобы древляне поняли: они убили не просто князя, они убили порядок, закон, саму душу Русской земли.

Она отправила в Искоростень новых гонцов: «Если вы вправду меня просите, пришлите за мной лучших мужей, чтобы прийти мне с честью. А я приду и сотворю тризну по мужу своему».

Древляне, ослепленные гордостью, попались и во второй раз.

Прибывших «лучших» мужей Ольга приказала истопить в бане. «Омыть их перед встречей», — велела она. И когда баня вспыхнула жаром, захлопнулись двери, сжигая врагов заживо. Огонь очистил землю от скверны.

И вот, наконец, она пришла к стенам Искоростеня. Пришла не с мечом, а с горстью земли. На могиле Игоря она лила слезы, но глаза её оставались сухими и холодными. Когда холм насыпали, она велела варить мед и пировать. Ошеломленные древляне, видя, что княгиня поминает мужа по их же обычаю, сели с ней за стол. Они пили и ели, не замечая, что их собственные дружинники, приставленные Ольгой к ним для услужения, почтительно стоят за спиной, не притрагиваясь к чашам.

А когда захмелевшие древляне повалились на траву, Ольга дала знак своим воинам.

— Помяните князя, — тихо сказала она.

И началась сеча. Пять тысяч древлян полегло той ночью.

Но Ольга не была бы Ольгой, если бы остановилась на этом. Искоростень, его стены, его люди — оставались живы. Город заперся и готов был умереть, но не сдаться.

Целое лето простояла Ольга под стенами, понимая, что штурмом город не взять — увязнет в крови. И тогда она снова пошла на хитрость.

— Чего вы сидите? — передала она горожанам. — Все ваши города уже покорились мне и сидят в тишине. А вы хотите умереть с голоду? Дайте мне дань. Мне немного надо. Всего по три голубя и по три воробья со двора.

Древляне, измученные осадой, обрадовались такой дешевой дани. Они собрали птиц и с поклоном отправили к Ольге.

А Ольга велела своим воинам привязать к каждой птице сухой трут

с серой, зажечь его и отпустить. Голуби полетели в свои гнезда под крышами, воробьи — под стрехи сараев. И в один миг Искоростень вспыхнул ярче свечи. Горело всё, и бежать из пылающего города было некуда — всюду стояла княжеская дружина.

Город пал.

Шли годы. Седые пряди тронули виски княгини, но взгляд её стал не мягче, а глубже. Киев при ней богател и ширился. Она установила погосты — места сбора дани, чтобы больше никогда не ездили князя за полюдьем, как волки, а чтобы дань была уроком, законом.

Но чем больше она укрепляла землю, тем сильнее ощущала пустоту в душе. Языческие боги — Перун и Велес — смотрели на неё каменными глазами и молчали. Они требовали крови, жертв, а она устала от крови. Она искала ответа на вопрос: как править без злобы? как простить? как жить дальше?

Ответ она нашла не в Киеве. Она отправилась в далекий Царьград. Тамшний император, пораженный её умом и красотой, предлагал ей руку и сердце. Но Ольга, принявшая там крещение от патриарха, ответила ему с той же мудрой хитростью, что и древлянам:

— Я сама язычница и княгиня, если хочешь крестить меня, то крести сам — иначе не крещусь.

Император, ставший её крестным отцом, не мог уже потом жениться на ней — церковь запрещала браки между кумовьями. Она перехитрила его, сохранив свою власть и независимость.

Вернулась она в Киев с крестом в руках. Она построила первый христианский храм — во имя Святой Софии. Она молилась за сына своего Святослава, который не желал слушать её проповедей и говорил, что дружина засмеет его, если он станет христианином.

— Воля твоя, — сказала ему Ольга. — Если Бог мой хочет помиловать род мой и землю Русскую, вложит им в сердце то же обращение к Богу,

что и мне даровал.

Она не дожидая до того дня, когда её внук, Владимир, крестил Русь. Но когда он, стоя на берегу Днепра, сокрушал языческих идолов, он вспоминал её — свою бабу, которая первой увидела Свет в глубине языческой ночи. Ту, что прошла путь от жестокой мести до всепрощающей мудрости. Ту, что стала для Руси не просто княгиней, а провозвестницей новой эры.

Церковь назовет её Святой, а народ — Мудрой.

Вещий Олег!

Змеиное жало

Осень в тот год стояла долгая и сухая. Киев встречал своего князя Олега колокольным звоном и хлебом-солью. Дружина, утомленная долгим походом на греков, шумно вливалась в Подол, кони фыркали, чуя близкий отдых, а щиты, прибитые к мачтам ладей, всё ещё алели в память о Царьграде.

Олег ехал на своем любимом коне — серебристо-белом, с умными, внимательными глазами. Конь был не просто конём, а боевым товарищем, вынесшим князя не из одной сечи.

— Ну вот мы и дома, Буря, — потрепал князь коня по холке, спешиваясь у ворот детинца. — Помнишь, как под Царьградом? Греческого огня не испугался, шёл прямо на него. Славный ты конь.

Буря всхрапнул и ткнулся мягкими губами в княжеское плечо.

На пиру, устроенном в честь победителя, гуляла вся знать. Текло рекой заморское вино, жарились целые туши, скоморохи кувыркалились под одобрительный гул. И среди всеобщего веселья к княжескому столу, шаркая старческими ногами, подошёл волхв. Кудесник, любимец Перуна.

Старик был сед, как лунь, в руке его подрагивал посох, увитый

сухими травами, а глаза, выцветшие от времени, смотрели не на Олега, а сквозь него — туда, где клубился туман грядущего.

— Славный пир, княже, — прошамкал он. — А слава твоя и того славнее. Переяславец ты, и хазарам ты щитом бока обломал, и Царьград данью умудрил. Нет тебя сильнее.

Олег отставил кубок, нахмурился. Не любил он этих разговоров.

— За славу спасибо, старче. А силу свою я не мерял. Она при мне.

— Сила-то при тебе, — волхв вдруг хищно сощурился, и его выцветшие глаза блеснули. — Да только не от меча тебе, князь, смерть принять.

В гряднице стало тихо. Слышно было только, как потрескивает лучина да где-то за стеной всхрапнул конь.

— А от чего же? — усмехнулся Олег. — От кубка с отравой? Или от старости в перинах?

— Нет, — голос кудесника был ровен и страшен. — Смерть примешь ты от коня своего любимого. От Бури.

Дружина ахнула. Кто-то поперхнулся вином. Воеводы переглянулись. А Олег сидел бледный, пальцы его мертвой хваткой сжимали рукоять меча. В голове не укладывалось: Буря? Тот, кто столько раз прикрывал его спину? Тот, кто фыркал от радости, когда князь подходил к конюшне?

— Вон, старик, — глухо сказал Олег. — Плетёшь небылицы. Зла тебе не желаю, но чтобы глаз моих ты больше не смел мозолить.

Волхв поклонился и ушел, растворившись в сумерках за дверями.

Долго не спал в ту ночь князь. Ворочался на медвежьей шкуре, слушая, как за окном воет ветер. А наутро позвал конюхов.

— Уведите Буря в дальние луга, за реку. Пусть пасется там, ест сочную траву. Холите его, лелейте, ягодами кормите, водой ключевой поите. Но чтобы на глаза мне больше не попадался.

Конюхи опешили, но перечить не посмели. Увели любимца князя. Буря упирался, косил огромным глазом на ворота, откуда должен был выйти хозяин, но его уводили всё дальше и дальше. А Олег стоял на стене и смотрел вслед, пока белая точка не растаяла в дымке осеннего поля.

Годы шли чередой. Олег княжил мудро, ходил в новые походы, принимал послов, рядил с соседями. Время залечивало раны, и предсказание волхва стало казаться дурным сном. Князь женился, у него родились дети, киевские холмы звенели от детского смеха и звона кузнечных молотов.

Но о коне он помнил. Иногда, среди ночи, ему казалось, что он слышит знакомый всхрап. Он вскакивал, но вокруг была лишь тишина.

Прошло четыре года. Как-то на охоте, в разговоре с молодыми боярами, кто-то вспомнил старого княжеского коня.

— А жив ли Буря? — спросил Олег, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Давно уж нет, княже, — ответил старый конюх. — Третий год пошел, как преставился. Славно жил, в тепле и холе. Мы его на взгорье схоронили, у дубравы.

У Олега отлегло от сердца. Он рассмеялся, впервые за многие годы смехом свободным и легким.

— Выходит, врал старый хрыч! — воскликнул князь. — Конь мёртв, а я жив и здоров. Смерть от коня? Ха! Пойдемте, покажу вам место, где его кости лежат. Посмеёмся над глупым пророчеством.

Он велел седлать лошадей, и небольшая дружина выехала за ворота.

День был ясный, солнечный, но ветреный. Сухие листья кружили в воздухе, шуршали под копытами.

На взгорье, где покоился Буря, было тихо. Только ветер гулял в голых ветвях дуба. Олег спешил и подошел к холмику, поросшему уже травой.

— Вот здесь лежит мой боевой друг, — сказал он глухо. — Царство ему небесное. А мы всё боимся смерти, а она, вон она где — земля и кости.

Он отошел в сторону и, задумавшись, наступил сапогом на череп лошади, белеющий у корней дуба. Кости коня растащили звери, и череп лежал отдельно.

— Спи спокойно, Буря, — прошептал князь.

В тот же миг из глазницы черепа, как черная молния, метнулось что-то тонкое и стремительное. Олег не успел даже вскрикнуть. Гадина, жирная и черная гадюка, греющаяся в сухом черепе, вонзила свои зубы ему в ногу, чуть выше щиколотки.

Дружинники подбежали не сразу. Они увидели, как князь покачнулся, охнул и, схватившись за ногу, начал оседать на землю.

— Княже!

Олега подхватили на руки, понесли к коням. Но яд был страшен, а князь был уже не молод. Четыре года, прожитых без коня, не шли в счёт пророчеству. Оно настигло его здесь, у костей того, кого он любил и кого боялся.

Вечером того же дня Вещий Олег скончался на руках у своих воинов.

И плакала по нему вся земля Русская, плакала дружина, плакала княгиня. А старый волхв, говорят, в тот самый вечер стоял на высоком берегу Днепра, смотрел на багровый закат и шептал что-то неведомым

богам. Не со зла он предсказал князю смерть, а потому что видел нить судьбы, которую не в силах порвать ни один меч.

Ярослав Мудрый!

Книга и меч

В тот год Русь впервые узнала, что такое настоящая усобица. Смерть Владимира Красное Солнышко, крестителя земли Русской, раздернула страну на лоскуты, как старую холстину. Святополк, прозванный в народе Окаянным, сидел в Киеве, а братья его — кто в тени хоронился, кто зубы точил.

Ярослав тогда княжил в Новгороде. Город вольный, богатый, но далекий от золотого киевского стола. Весть о том, что Святополк убил Бориса и Глеба, пришла в Новгород глухой ночью, когда Ярослав работал при свече — правил греческие книги на славянский лад.

Гонец, весь в пыли и кровавых подтеках, рухнул на пол gridницы и выдохнул:

— Княже... Братьев твоих... Бориса копьями... А Глеба... ножом, по приказу Святополка...

Ярослав замер. Рука, державшая гусиное перо, дрогнула, и чернила залили половину пергамента. Борис... любимец отца, кроткий, светлый. Глеб, совсем мальчик. Он помнил, как они в детстве играли в одном тереме, как Борис учил его читать Псалтирь.

— Ступай, — тихо сказал Ярослав гонцу. — Отдохни.

Когда за гонцом закрылась дверь, князь отшвырнул перо и ударил кулаком по дубовому столу так, что подпрыгнули тяжелые подсвечники.

— Убийца! — прошипел он в пустоту. — Зверь!

Новгородцы, узнав о злодействе, зароптали. Но Ярослав не спешил.

Он созвал вече, вышел к народу — не в доспехах, а в простом плаще, бледный, с темными кругами под глазами.

— Мужичи новгородские, — начал он, и голос его дрогнул, но тут же окреп. — Брата моего, Бориса, убили. Глеба убили. А завтра, если Святополк сядет на всей Руси, он и до вас доберется. Пойдете со мной на Киев?

Толща зашумела. Новгородцы любили Ярослава — за ум, за справедливость, за то, что он не драл с них три шкуры, как другие князья.

— Пойдем! — заревела толпа. — На Окаянного!

Но впереди была не только битва, а и великая измена.

В ту же ночь к Ярославу прибежал ключник.

— Княже, варяги! Наемники твои, что ты для подмоги нанял, бесчинствуют! Женю новгородских обижают, мужиков задирают. Рознь пошла!

Ярослав стиснул зубы. Варягов он нанял для силы, а они ссорят его с новгородцами, без которых он — никто.

Наутро он велел собрать варяжских старшин якобы на пир. Те явились, лоснящиеся от жира, уверенные в своей безнаказанности. Ярослав встретил их в малой гриднице, один, без охраны.

— Спасибо, что пришли, — сказал он тихо. — Служба вала мне нужна. Да только не такую ценой.

Варяги засмеялись, переглянулись. Один, здоровенный, с рыжей бородищей, шагнул вперед:

— Мы воины, князь. Воины берут свое. А не дашь — уйдем к другому.

Ярослав шагнул к нему навстречу. Глаза его, обычно спокойные, как осенняя вода, вдруг вспыхнули ледяным огнем.

— Уйдешь, — согласился он. — Но прежде заплатишь за каждую слезу новгородской бабы.

И ударил. Коротко, страшно, по-варяжски — ножом под ребро. Рыжий рухнул, заливая кровью свежие доски. Остальные оцепенели. А Ярослав уже стоял в дверях, и в руке его был меч, и за спиной его, в проеме, маячили тени новгородских дружинников.

— Вон из моего города, — сказал Ярослав. — И чтобы костей ваших здесь не осталось.

Варяги бежали в ту же ночь. А новгородцы, узнав о расправе, пришли к князю всем городом.

— Ты наш! — кричали они. — Ты не князь нам, ты отец! Веди на Киев! Мы за тебя ляжем!

И повел.

Любечская битва была страшной. Святополк привел печенегов, диких, как волки, и туча их закрыла поле. Ярослав стоял в центре полка, и меч его ходил ходуном. Рядом падали новгородцы, кричали кони, визжали печенеги, и кровь мешалась с днепровской водой.

К вечеру Святополк бежал. Бежал так, что, говорят, кони его несли по трупам, а он, обезумев, все кричал: «Гоните! Гоните! Они за мной! Борис с Глебом!»

Ярослав въехал в Киев не победителем — нет. Он въехал в опустевший, вымерший город, где в каждом углу чудилась смерть. Спешился у Софийского собора, который еще только начинали строить при отце, и упал на колени.

— Господи, прости мне кровь, пролитую в сей сече, — прошептал

он. — Но не дай погибнуть земле, за которую я дрался.

Годы правления Ярослава стали временем великого строительства. Он не только воевал — он созидал.

На том самом месте, где разбил печенегов, заложил он храм Святой Софии — Премудрости Божией. Греческие мастера учили русских, и поднимались стены, рос вверх золотой купол, чтобы сиять на всю Русь.

— Пусть видят все, — говорил Ярослав зодчим, — что не силой единой жива земля наша. Но разумом. И верой.

При нем собрали писцов и переводчиков. В гридницах, где раньше звенели только мечи, зашелестели пергаменты. Ярослав сам просиживал ночи, сверяя списки, правя строки, вникая в каждое слово.

— Княже, — удивлялся митрополит Иларион, первый русский митрополит, поставленный Ярославом. — Тебе ли, воину, книги править?

— Воин я, — отвечал Ярослав, отрываясь от свитка. — Но мечом можно завоевать землю. А удержать ее можно только словом. Словом Божьим. Словом закона.

При нем появилась и «Русская Правда» — первый писанный закон. Не византийский, не варяжский, а свой, русский. Чтобы и смерд, и боярин знали: над ними — правда.

Старость его была тихой. Дети разъехались по городам, породнились с половиной Европы: дочери стали королевами Франции, Норвегии, Венгрии. Сидел Ярослав в своих палатах, смотрел на золотые купола Софии, слушал, как звонят колокола.

Рядом стоял внук, мальчик лет пяти, теребил его за рукав.

— Деда, а деда, ты самый сильный?

Ярослав улыбнулся, погладил его по голове.

— Нет, малый. Я самый счастливый.

— А почему?

— Потому что успел. Посеял то, что после меня взойдет.

Он умер тихо, во сне, как и подобает мудрецу. И когда отпевали его в Софии, которую он построил, казалось, что сам собор плачет по нему золотыми куполами.

А на Руси остались его книги. Его правда. Его дети, разлетевшиеся по миру, как семена из спелого колоса. И память о том, что править можно не только страхом, но и мудростью. Не только мечом, но и словом.

Александр Невский!

Лед и пламя

Новгород встречал князя Александра хмурым небом и колючей крупой, бьющей в лицо. Он въезжал в город с малой дружиной — сам похудевший, почерневший от дороги, но с глазами, в которых горел холодный, расчетливый огонь.

Было это в год 1241-й. Русь дымилась пепелищами после Батыева нашествия. Киев лежал в развалинах, Владимир обезлюдел, Рязань стерта с лица земли. И в этот час, когда, казалось, силы иссякли, с запада пришли новые вороны — рыцари-крестоносцы.

— Немцы взяли Псков, — докладывал на вече посадник, тряся бородой. — Изменники-бояре ворота открыли. Чудь обложили данью. Теперь на Новгород метят.

Толпа загудела. Купцы хватались за товары, бабы прижимали детей, мужики сжимали кулаки.

— Княже! — закричали из толпы. — Ты Неву бил! Шведов! Веди нас!

Александр, сын Ярослава, внук Всеволода Большое Гнездо, стоял на ступенях детинца, слушая этот шум. Два года назад он разбил шведов на Неве — за то и прозвали его Невским. Но тогда было другое. Тогда Русь еще была сильна. А теперь...

Он поднял руку. Толпа стихла.

— Скажу одно, — молвил он негромко, но каждое слово врезалось в тишину. — Кто не пойдет со мной, тот сам себе враг. Немец не татарин. Тот данью возьмет и отступит. А этот с крестом пришел. Веру нашу хочет сломать. Землю нашу — поделить. Детей наших — в латыни учить. Быть по сему?

— Быть! — взревел Новгород. — Веди!

Копил Александр силы долго и трудно. Посылал гонцов к отцу во Владимир — тот прислал суздальские полки. Собирал ополчение, сам объезжал погосты, уговаривал смердов, сам считал копыя и топоры.

А в тереме, ночами, когда все спали, он сидел над картами, водил пальцем по рекам и волокам, и думал горькую думу.

— Батюшка, — однажды спросил его сын, малолетний Василий, прибежав в гридницу. — А татары злее немцев?

Александр вздрогнул. Поднял глаза на сына, долго смотрел.

— Другие они, сынок, — ответил наконец. — Немец лезет с мечом и крестом. Ему наша душа нужна. А татарин... он далеко. Ему дань нужна. И покорность.

— А мы покоримся? — глаза мальчика расширились.

Александр тяжело поднялся, подошел к окну. Там, за стенами, лежала заснеженная Русь, израненная, но живая.

— Мы выживем, — сказал он тихо. — А там видно будет. Иди спи.

В тот год он совершит то, за что его будут помнить веками. Но об этом сын узнает потом.

Весной 1242 года ударили морозы. Чудское озеро встало крепким льдом, задубело синевой. Немцы, собрав огромное войско, шли на Новгород. Александр встретил их на узком перешейке между озерами, не дав обойти.

Перед битвой он собрал воевод.

— Немец строит свинью — клином, — говорил он, чертя мечом на снегу. — В лоб ударит, самый острый конец. А мы его в клещи возьмем. Я в центре пехоту поставлю, самую слабую. Он в нее врежется, увязнет. А по бокам — конница. Ударим с боков, сомнем.

Воеводы хмурились.

— Княже, пехоту жалко. Немец ее в мясо перемелет.

— Надо, — отрезал Александр. — Лес кругом, озеро. Ему не развернуться. А пехота постоит. Она русская.

Пятое апреля. Солнце вставало над Чудским озером, и снег искрился так, что глазам было больно. Александр стоял на Вороньем камне, смотрел, как из утренней мглы выползает немецкая «свинья».

Тяжелая конница в белых плащах с черными крестами шла мерно, как живой механизм. Копья лесом торчали в небо, латы сверкали, кони ступали в ногу. За ними — чудь, эсты, набранные силой.

— Красиво идут, — усмехнулся кто-то из дружинников.

— Красиво, — согласился Александр. — Да только красота та мертвая. С Богом.

Он перекрестился, надел шлем и шагнул в седло.

Битва началась с грохота, который, говорят, был слышен за поприще. Немецкий клин врезался в русскую пехоту и та дрогнула, попятилась, но не побежала. Мужики в простых зипунах, с топорами и рогатинами, грудью встречали закованных в железо рыцарей.

— Стоять! — орал воевода в центре, размахивая мечом. — Стоять, братцы! Князь видит!

Александр видел. Видел, как падают его люди, как краснеет снег, как немцы все глубже вгрызаются в строй. Он ждал. Ждал, когда «свинья» увязнет по самое брюхо.

И когда показалось, что центр вот-вот рухнет, он махнул рукой.

— Пошли!

Конница ударила с двух сторон одновременно. Свежие кони, закованные в броню дружинники, тяжелая кавалерия обрушилась на фланги немецкого клина. Для рыцарей это было как гром среди ясного неба. Их строй смешался, «свинья» рассыпалась на отдельных всадников.

Александр рубился в первых рядах. Меч его пел свою страшную песню, и не было ему равных в той сече. Он видел искаженные лица рыцарей, слышал их крики на чужом языке, чувствовал, как кровь брызгает на лицо.

И тут случилось то, о чем потом сложат легенды. Лед, не выдержав тяжести сгрудившихся рыцарей, затрещал. Сначала у берега, где били ключи, а потом и дальше. Черная вода хлынула наружу, заглатывая людей и коней в тяжелых доспехах.

— Лед ломается! — закричали немцы. — Спасайся!

Началось бегство. Русские гнали их семь верст по льду до Суболичского берега. И пало немцев в тот день бесчисленно, а иные утонули в озере, и вода долго носила их тела, окрашенные кровью.

К вечеру Александр сидел на опрокинутой бочке, и дружинник перевязывал ему руку — легкое ранение, царапина. Мимо вели пленных рыцарей, грязных, злых, потерявших свою гордость.

— Княже, — подошел воевода, весь в чужой крови. — Побили мы их. Слава тебе.

Александр устало поднял глаза.

— Не мне слава, — сказал он. — Земле Русской. И тем, кто сегодня здесь полег. Помянуть бы их надо.

Он обвел взглядом поле битвы, усеянное телами. Закатное солнце красило снег в розовый цвет, и в этом свете лед казался не белым, а алым.

— Великий князь, — осторожно начал боярин, подошедший с другой стороны. — А что с пленными делать?

— Отпустить, — коротко бросил Александр.

— Как отпустить?! — изумился боярин. — Мы их кровью взяли!

— А ты хочешь, чтобы их братья завтра снова пришли? — Александр встал, поморщившись от боли в руке. — Пусть идут и расскажут, как русские бьются за свою землю. И что с нами лучше дружить, чем воевать.

Пленные ушли. А Александр еще долго стоял на берегу, глядя на темнеющее озеро, и думал о том, что главные испытания еще впереди.

Через несколько лет его вызовут в Орду. К Батыю. И там нужно будет кланяться, унижаться, терпеть — ради того, чтобы спасти ту самую Русь,

за которую он проливал кровь на Чудском озере.

— Батюшка, а почему ты хану кланяешься? — спросит его сын Даниил, когда они будут возвращаться из Орды, измученные долгой дорогой.

Александр долго молчал. Потом притянул сына к себе, обнял за плечи.

— Затем, сынок, чтобы вы жили. Чтобы Русь жила. Орда сильна, как стена. Но стены можно обойти. Или переждать. А если биться головой об стену — только голову разобьешь. А стена останется.

Он умер в 1263 году, возвращаясь из Орды. Принял схиму под именем Алексий. И когда весть о его смерти дошла до Владимира, митрополит Кирилл сказал с амвона:

— Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Русской.

И плакал народ, потому что понял: ушел тот, кто умел не только побеждать мечом, но и спасать унижением, не только бить врага, но и жалеть свой народ. И осталась после него Русь — израненная, униженная, но живая. А живая — значит, будет и дальше.

О средневековом рыцаре!

Последний из честных

Конрад фон Берг проснулся задолго до рассвета.

В зале было холодно. Огонь в камине погас еще в полночь, и никто из слуг не позаботился его разжечь. Впрочем, слуг почти не осталось — разбежались кто куда, когда жалование перестали платить.

Рыцарь натянул грубую шерстяную рубаху, нащупал ногами холодный каменный пол. Тело ныло — вчерашняя тренировка с боевым топором давала о себе знать. Сорок семь лет — не те годы, чтобы махать

железом с утра до ночи, но если перестать тренироваться, мышцы потеряют память, а руки — силу.

Замок молчал.

Когда-то здесь звенели чаши, звучала музыка, смеялись женщины. Отец Конрада держал двор, равных которому не было в округе. Теперь от того великолепия остались только выцветшие гобелены на стенах да пустые стойла в конюшне.

Конрад спустился во внутренний двор. Морозный воздух обжег горло. Над зубцами стен медленно поднимался бледный рассвет, окрашивая тучи в цвет застарелой крови.

— Господин, — старый Ульрих, единственный оруженосец, что не сбежал, вышел из конюшни, ведя в поводу коня. — Гнедой опять хромает. Подкова расшаталась.

Конрад молча кивнул. Кузнец ушел еще в прошлом месяце, прихватив с собой лучшие инструменты.

— Что слышно в деревне?

Ульрих отвел глаза:

— Плохо, господин. Люди уходят. Те, кто остался, шепчутся. Говорят, барон фон Штальберг собирает отряд. Хочет прибрать к рукам земли, пока...

— Пока я не умер? — Конрад усмехнулся, но усмешка вышла кривой. — Штальберг всегда умел выбирать время.

Он погладил коня по влажной шее. Тот благодарно ткнулся мордой в плечо хозяина.

— Седлай, — коротко бросил рыцарь.

— Куда, господин?

— К аббатству. Отец Марк говорил, что в горах опять появились разбойники. Купцы не могут проехать.

Ульрих замер, не веря своим ушам:

— Господин, у нас нет людей. Вас убьют. И потом... кому какое дело до купцов? Пусть сами платят охрану.

Конрад посмотрел на оруженосца долгим, тяжелым взглядом. Под этим взглядом Ульрих когда-то, лет тридцать назад, мальчишкой-сопляком, впервые взял в руки меч. Взгляд не изменился — серый, спокойный, холодный, как лезвие.

— Мне есть дело, — сказал Конрад. — Потому что это моя земля. Потому что мой отец клялся епископу, что дорога будет безопасной. И потому что я дал слово.

— Слово, — горько повторил Ульрих. — Господин, мир больше не держится на словах. Держитесь вы на словах или нет — никому нет дела. Люди хотят есть. Им нужна защита сейчас, а не честь, о которой вы говорите.

Конрад не ответил. Он вошел в часовню — маленькую, каменную, пахнущую сыростью и ладаном. На алтаре лежал его меч. Простой, без украшений, с потертой рукоятью. Рядом — потертые латные рукавицы и шлем с царапиной от вражеского топора, полученной в битве при Форххайме двадцать лет назад.

Рыцарь опустил на колени.

— Господи, — прошептал он, — прости мои грехи. И дай сил умереть так, чтобы стыдно не было.

Молитвы он не слышал. В голове крутилось другое — слова Ульриха о том, что мир больше не держится на словах. И ведь старик прав.

Империя трещит по швам. Император далеко, ему нет дела до баронов, которые режут друг друга за клочок земли. Рыцарство вырождается — вчерашние конюхи, получив золото, называют себя благородными. Данное слово теперь стоит ровно столько, сколько монет в кошельке того, кто его дал.

Конрад поднялся. Меч лег в руку привычно, как продолжение тела.

Час спустя он выехал из ворот.

На нем был старый, но крепкий доспех, плащ с выцветшим гербом — черный лев на серебряном поле и шлем, который он надел, только когда замок скрылся из виду. В седельной сумке лежал краюха хлеба, кусок сала и фляга с водой. Ульрих остался в замке — смотреть за конем и ждать.

Дорога в аббатство шла через лес. Здесь было тихо, только ветер шумел в голых ветвях да иногда кричала сойка. Конрад ехал и думал о том, что в молодости ему казалось: рыцарство — это турниры, прекрасные дамы, слава. Потом, в первом настоящем бою, когда клинок вошел в живот врага и тот закричал тонко, по-звериному, он понял, что это не так. А потом, с годами, понял главное: рыцарство — это не умение убивать. Это умение нести ответственность за тех, кто слабее. И за свои слова.

Выехав на опушку, он увидел дым.

Горела деревня у подножия холма, на котором стояло аббатство. Дым поднимался черный, жирный — горело не сено, горело человеческое жилье.

Конрад пришпорил коня.

Он влетел на деревенскую улицу, когда разбойники — человек десять, грязных, оборванных, с топорами и ржавыми мечами — выволакивали из домов утварь и тащили упиравшуюся девку к телеге.

— Стоять! — заорал Конрад.

Голос его прозвучал как удар колокола в этой суматохе. Разбойники обернулись. Увидели одного всадника.

И засмеялись.

— Гляньте, — сказал здоровенный детина с нашитой на куртку железной бляхой, похожий на их главаря. — Сам пожаловал. Конрад фон Берг. Слыхал я про тебя. Говорят, ты честный рыцарь. Правда, говорят, бедный как церковная мышь.

Конрад вытащил меч. Лезвие блеснуло в свете пожаров.

— Отпусти людей. Убирайся с моей земли, — сказал он тихо. — И живи.

Главарь снова засмеялся. Его люди, обступив рыцаря полукольцом, тоже заулыбались. Десять против одного. Легкая добыча.

— Твоей земли? — переспросил главарь. — Скоро она будет землей барона фон Штальберга. А ты, старик, зря сюда приехал. Слезай с коня. Может, помилуем.

Конрад не слез. Он только поправил щит на левой руке и перехватил меч поудобнее.

— Последний раз говорю, — произнес он. — Уходите.

Вместо ответа разбойники бросились на него.

Первого он снял с коня точным ударом в шею — даже не мечом, а шипастым набалдашником рукояти. Второй напоролся на меч, когда попытался достать лошадь. Конь, старый боевой жеребец, кусался и бил копытами не хуже хозяина.

Но их было много.

Через минуту конь захрипел и рухнул — кто-то подрубил сухожилия на задней ноге. Конрад едва успел выдернуть ноги из стремян, покатился по земле, вскочил. Меч свистнул, отрубая кисть руки, занесенной над ним с дубиной.

— Добивайте его! — орал главарь.

Конрад дрался.

Он дрался так, как учил его отец — спокойно, расчетливо, экономя каждое движение. Блок, укол, шаг в сторону. Еще блок, еще укол. Разбойники падали в грязь, но на их место вставали новые.

Удар по шлему отозвался звоном в ушах. Конрад пошатнулся, но устоял. Меч описал дугу, разрубая лицо очередному нападавшему.

А потом что-то тяжелое обрушилось ему на спину, и он упал на колени.

Перед глазами поплыло. Сквозь прорезь шлема он видел грязь, в которую уткнулся лицом, чьи-то разбитые башмаки и ручеек собственной крови, смешивающейся с дождевой водой.

— Сдохни, рыцарь, — услышал он голос главаря.

Конрад попытался встать. Тело не слушалось. Меч выпал из ослабевшей руки.

«Господи, — подумал он, — неужели это всё?»

И вдруг услышал топот копыт.

Много копыт.

— К оружию! — заорал кто-то. — Засада!

Конрад, теряя сознание, успел увидеть, как из-за холма вылетает отряд в черных плащах с серебряными львами. Ульрих. И с ним человек десять — крестьяне, конюхи, старый кузнец с молотом в руках. И даже отец Марк верхом на муле, сжимающий в руках не крест, а боевой топор.

Ульрих, подлетев, прыгнул с коня, подхватил рыцаря на руки.

— Господин! Господин, вы слышите меня?

Конрад открыл глаза. Над ним было серое небо и перекошенное от страха лицо старого оруженосца.

— Пришли... — прошептал рыцарь. — А говорил... никому нет дела.

Ульрих, сглатывая слезы, стащил с него шлем.

— Есть дело, господин. Есть.

Конрад слабо улыбнулся. Кровь заливала лицо, но глаза смотрели ясно.

— Видишь... — сказал он чуть слышно. — Держится мир... на словах... И на таких, как мы... дураках...

— Господин! — Ульрих тряс его за плечи. — Не смейте! Вы не имеете права!

— Почему? — Конрад смотрел уже куда-то сквозь него, в небо. — Свой долг я... выполнил.

Глаза его остановились.

Ульрих замер, все еще сжимая безжизненное тело. А вокруг догорала деревня, разбойники бежали в лес, и на пепелище медленно опускался первый снег.

Рюрик. Первый на троне

Пролог. Северный ветер

В тот год осень на Ильмене выдалась ранней.

Варяжские лады, груженные товарами и оружием, уже который день стояли на приколе у низкого берега. Норманны не любили задерживаться на славянских землях без дела: здесь нечем было поживиться, если не считать мехов и воска, а менять сталь на пушнину им казалось слишком мирным занятием. Но в этот раз все было иначе.

На высоком крыльце, рубленном из вековых сосен, стоял человек. Высокий, широкоплечий, с рыжеватой бородой, тронутой первой сединой. Он смотрел на закат, где небо горело багрянцем, будто предвещая пожар. В руке он сжимал боевой топор, но не сжимал его для битвы — скорее, для опоры.

Это был конунг Рюрик.

Часть первая. Чужой среди своих

Рюрик не любил вспоминать прошлое. Но прошлое само напоминало о себе — по ночам, в шуме ветра и в скрипе уключин.

Он родился там, где море бьется о скалы, где фьорды узки и глубоки, а имена богов высечены на камнях рунами. Его дед, знаменитый конунг, владел землями в Ютландии, но удача — переменчивая дева — отвернулась от рода. Отца убили в междоусобной схватке, и маленького Рюрика с братьями пришлось спасать бегством.

Они росли при чужих дворах. Служили императорам франков, воевали с саксами, ходили в походы на запад. Но Север всегда звал их обратно.

— Мы волки, — говорил брат Синеус, глядя в костер. — Волк может уйти далеко в чужой лес, но вой его все равно слышен своим.

— Мы не волки, — качал головой Рюрик. — Мы — семя. Семя, брошенное в землю. Оно должно прорасти там, где почва примет.

И почва ждала.

Часть вторая. Послы

Это случилось в конце лета 862 года.

Рюрик сидел в своей гриднице на Ладогe — первой крепости, которую он отбил у варянов несколькими годами ранее. За столами пиновала дружина: варяги в кольчугах, славяне в льняных рубахах, чудь в оленьих кожах — всех собрал под своей рукой северный конунг.

Воины ели мясо, запивая медом, и слушали скальда, который пел о подвигах предков. Вдруг дверь распахнулась. Вошел отрок, запыхавшийся от быстрого бега.

— Конунг! Там... там гости. Много. Идут от Ильменя.

Рюрик поднялся. Дружина замерла, положив руки на мечи.

В гридницу вошли пятеро. Они были одеты богато, но устало: долгий путь по рекам и волокам не красит никого. Старший из них, с окладистой седой бородой, поклонился в пояс, хотя в глазах его читалась гордость.

— Челом бьем тебе, княже, от племен словенских, кривичских, от мери и веси всей.

Рюрик нахмурился, но жестом пригласил говорить.

— Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами.

Тишина в гриднице стала такой плотной, что слышно было, как трещит лучина в светце.

Рюрик молчал долго. Он знал цену таким приглашениям. Знал, что славяне — народ вольный, что каждый старейшина сам себе голова, а князь для них — наемный меч, который можно и выгнать, если не угодит.

Но он знал и другое. Без порядка земля гибнет. Без единой воли племена перегрызутся, как псы за кость, и тогда придут другие с востока

или с запада и сожгут все дотла.

— Я подумаю, — ответил он. — А пока — садитесь с нами. Пир продолжается.

Часть третья. Решение

Ночью Рюрик не спал.

Он вышел на стену Ладожской крепости. Внизу шумел Волхов, темный и быстрый. Где-то там, в верховьях, лежал Ильмень, а за ним — бескрайние леса, полные зверя, и реки, полные рыбы, и люди, которые не умеют жить в мире.

Рядом появился брат Трувор.

— Не спится?

— Не спится. Думаю.

— О чем тут думать? Соглашайся. Сядем в их городах, дань возьмем и делу конец.

— Не в дани дело, брат. Дело в том, чтобы построить. С нуля. Из ничего.

Трувор пожал плечами. Он был воин, а не строитель.

Рюрик смотрел на воду и вспоминал слова деда: «Тот, кто владеет реками, владеет миром».

Здесь, на Востоке, реки вели в три моря: на запад — в Варяжское, на юг — в Греческое, на восток — в Хвалиское. Если осесть здесь, если сковать племена железом закона, пусть даже не жесткого, но единого, — можно создать нечто большее, чем просто походный лагерь.

На рассвете он позвал братьев.

— Я согласен, — сказал он. — Но на своих условиях. Мы не будем просто наемниками. Мы будем князьями. Род наш будет править здесь, пока стоит земля.

Синеус и Трувор переглянулись. Синеус усмехнулся:

— Амбициозно. Мне нравится.

Трувор кивнул:

— Где мой меч — там моя земля.

Часть четвертая. Вокняжение

Той же осенью варяжские лады вошли в воды Ильменя.

Славяне встречали их на берегу — кто с хлебом-солью, кто с опаской. Рюрик шел первым, без шлема, чтобы все видели его лицо. Рядом несли стяг — сокола, пикирующего на добычу. Сокол — птица гордая, вольная, но если надо — бьет без промаха.

На вечевом холме собрались старейшины. Гул стоял, как в растревоженном улье.

— Чужеземца зовем! — кричал кто-то.

— Свои же хуже грызутся! — отвечали ему.

Рюрик поднял руку. Шум стих не сразу, но стих.

— Слушайте меня, люди ильменские! — голос его, привыкший перекрывать шторм, разнесся далеко. — Вы позвали меня. Я пришел. Не обещаю вам легкой жизни. Легкой жизни не бывает. Но обещаю одно: суд мой будет справедлив, а меч мой будет защищать вас от врагов. Кто не согласен — может уйти в леса и жить сам по себе. Кто останется — будет мне братом и товарищем.

Он помолчал и добавил:

— Боги видят, я не ищу здесь легкой добычи. Я ищу дом.

И в этот момент что-то изменилось в воздухе. Кто-то из стариков, помнивших еще дедов своих, вдруг шагнул вперед и поклонился.

— Будь нам князем, Рюрике. Суди и ряди по праву.

За ним поклонились другие.

Часть пятая. Начало

Так Рюрик сел княжить в Новгороде. Братьев он послал на другие земли: Синеуса — на Белоозеро, к веси, Трувора — в Изборск, к кривичам.

Поначалу было трудно. Славяне не привыкли к единой власти, варяги не привыкли сидеть на месте. Но Рюрик оказался не просто воителем — он оказался строителем.

Он повелел рубить новые стены, ставить остроги на торговых путях, собирать дань не грабежом, а по уговору. Он не лез в дела племен, не трогал их богов, не ломал обычаев. Он просто сказал: «Я здесь главный для большого дела. А в малом — живите как знаете».

И дело пошло.

Купцы потянулись к Новгороду, потому что стало безопасно. Ремесленники начали селиться под защитой стен, потому что знали: обидчика накажут. Молодежь потянулась в дружину, потому что Рюрик платил не скупясь и водил в походы — не за добычей, а за славой.

Эпилог. Наследие

Рюрик умер в 879 году, оставив после себя малолетнего сына Игоря и родственника Олега, которому наказал беречь дитя и землю.

Мало кто знает, где его могила. Одни говорят — в Кореле, другие — в Ладоге, третьи — что тело его уплыло на ладье в море, как завещали предки-варяги.

Но перед смертью он вышел на высокий берег Волхова, посмотрел на город, который построил, на реку, которая кормила, на леса, которые хранили, и сказал стоявшему рядом Олегу:

— Я сделал, что мог. Теперь твой черед. Помни: мы здесь не чужаки. Мы — свои. Потому что эта земля приняла наш род. И если мы будем беречь ее — она будет беречь нас.

Ветер донес звон колоколов. Тогда еще не было христианства на Руси, но ветер пел, как тысячи колоколов, и Рюрик улыбнулся.

Он знал: начало положено. Дальше — дело потомков.

Историческая справка для любознательных

Рассказ основан на легендах «Повести временных лет» и скандинавских саг. Реальный Рюрик — фигура загадочная. Некоторые историки отождествляют его с датским конунгом Рёриком Ютландским, который служил франкским императорам и совершал набеги на земли славян. Другие считают его чисто легендарным персонажем. Но факт остается фактом: именно с Рюрика началась династия, правившая Русью более 700 лет, и именно с его призвания мы обычно начинаем отсчет русской государственности.

Иван III. Государь всея Руси

Пролог. Утро на Соборной площади

Москва встречала рассвет.

Туман поднимался от Москвы-реки, окутывая белокаменные стены Кремля, которые совсем недавно сменили свой облик: вместо старых дубовых укреплений, помнивших еще деда, поднимались новые — из кирпича и камня. Великокняжеские мастера трудились не покладая рук, и над Москвой уже взметнулись грозные башни с дозорными вышками.

На Соборной площади было тихо. Только птицы начинали свою утреннюю перекличку, да где-то за стенами прокричал петух.

Из великокняжеских палат вышел человек. Ему было уже за пятьдесят, но осанка оставалась прямой, как меч. Длинные темные волосы, тронутые сединой, падали на плечи. Одет он был просто, по-домашнему, но во всем облике чувствовалась порода — порода правителя.

Это был Иван Васильевич, государь всея Руси, которого уже при жизни начинали называть Великим.

Он любил эти утренние часы. Город просыпался, начинали стучать топоры, мычать коровы, перекликаться торговки на торгу. Жизнь шла своим чередом. Иван прикрыл глаза и, кажется, на мгновение увидел совсем другую Москву — ту, что была здесь сорок лет назад, когда он, десятилетний мальчишка, впервые ступил на эту землю...

Часть первая. Сын своего времени

1440 год. Москва. Княжеский терем.

В семье великого князя Василия Темного случилось радостное событие: родился сын. Назвали Иваном в честь деда, Ивана Калиты, собиравшего русские земли под руку Москвы.

Но детство маленького княжича выдалось не сахарным.

Отец ослеп в жестокой борьбе за власть двоюродный брат выколол ему глаза. Русь сотрясала усобица, которую историки назовут феодальной войной. Дядья воевали против племянников, брат шел на брата, татарские отряды жгли русские города.

Маленький Иван рано повзрослел. Он видел, как слепой отец учился управлять государством, не видя света. Как мать, княгиня Мария Ярославна, становилась его глазами и руками. Как бояре предавали и переходили на сторону сильного.

— Запомни, сын, — говорил слепой отец, кладя тяжелую руку на плечо Ивана. — Сила не в жестокости. Сила в единстве. Земля наша — лоскутное одеяло. Тверичи грызутся с москвичами, рязанцы с суздальцами, а ордынцы только рады. Сделай так, чтобы лоскутки сшились в одно полотно. Тогда никто нас не одолеет.

Иван запомнил.

Часть вторая. Первые шаги

1462 год. Москва. Успенский собор.

Иван стоял на коленях перед митрополитом. Отец умер, и теперь на плечи двадцатидвухлетнего князя ложилось бремя власти.

Митрополит возложил на него шапку Мономаха — тяжелую, отороченную соболем, увенчанную крестом. В руки дал скипетр и державу.

— Божиею милостию, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский и всея Руси... — голос митрополита плыл под сводами собора.

Иван слушал и думал о своем. О том, что титул «всея Руси» пока что громкий, но пустой. Что Новгород, богатейший город, живет своей волей, что Тверь только и ждет момента укусьть Москву, что Литва на западе захватывает русские земли, а ордынские послы до сих пор приезжают за данью, унижая великого князя ярлыками хана.

— Всему свое время, — прошептал он одними губами.

Часть третья. Женитьба на Византии

1467 год. Москва. Великокняжеские палаты.

Иван ходил из угла в угол. Первая жена, княгиня Мария Борисовна Тверская, умерла. Остался маленький сын Иван Молодой. Но государству нужна была не только печаль — нужна была новая опора.

И эту опору предложил Рим.

— Государь, — боярин с поклоном протянул свиток. — Послание от кардинала Виссариона. Предложение, от которого нельзя отказаться.

Иван развернул свиток. Письмо было написано витиеватым греческим языком, но суть ясна: в Риме живет племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Зовут Софья. Она воспитана в католической вере, но готова принять православие. Папа римский надеется через этот брак склонить Русь к унии, но...

Иван усмехнулся.

Папа надеялся на одно, а он, Иван, видел другое. Софья Палеолог — это не просто жена. Это символ. Это кровь византийских императоров, багрянородных василевсов, чей род правил Вторым Римом тысячу лет. Если он женится на ней, Москва станет наследницей Царьграда. Третьим Римом.

— Согласен, — коротко бросил он.

1472 год. Москва встречала невесту.

Софья въезжала в город в сопровождении пышной свиты. Греческие и итальянские мастера, художники, зодчие тянулись за ней обозом. Она везла не только приданое — она везла культуру, традиции, книги, иконы и саму идею империи.

Иван смотрел на нее с высокого крыльца. Худошавая, темноглазая, с гордой осанкой. Настоящая царевна.

— Здравствуй, князь, — сказала она, поднимаясь по ступеням. Голос звучал низко, с чуть заметным греческим акцентом. — Я принесла тебе благословение моего рода. Надеюсь, мы будем достойны друг друга.

— Будем, — ответил Иван и протянул руку.

Вскоре в Успенском соборе их обвенчали. И с этого момента Иван III начал менять облик державы.

Часть четвертая. Покорение Новгорода

1478 год. Новгород. Стены Детинца.

Иван стоял в шатре под стенами мятежного города. Осада длилась долго, но сейчас все было кончено.

Новгород — гордая республика, Господин Великий Новгород, который считал себя почти независимым государством, — пал. Бояре, мечтавшие уйти под Литву, проиграли. Вечевой колокол, созывавший народ на сто лет вперед, замолчал навсегда.

В шатер вошел новгородский архиепископ Феофил, бледный, с трясущимися губами.

— Княже... государь... пощади. Не губи. Мы согласны на все.

Иван молчал. Перед глазами проносились картины прошлого: его послов в Новгороде оскорбляли, на вече кричали, что «московский князь не указ», что они сами себе господа.

— Колокол снять, — жестко произнес он. — Бояр, что Литву звали, в цепи. Земли их отписать на Москву. А городу... жить. Но отныне здесь нет веча. Есть только моя воля.

Новгородские послы вышли, поникшие. Иван повернулся к воеводам:

— И запомните. Кто на запад потянется, кто к Литве захочет — тому пощады не будет. Русь должна быть единая.

Часть пятая. Стояние на Угре

1480 год. Река Угра. Осень.

Два войска стояли друг против друга на разных берегах реки. С одной стороны — ордынцы хана Ахмата, союзники литовского князя Казимира. С другой — русские полки, которые вел сам Иван.

Месяц стояли. Стреляли из луков, но в бой не вступали. Река замерзала.

В стане Ивана было беспокойно. Бояре шептались, некоторые предлагали уступить, заплатить дань, как платили деды. Мать, инокиня Марфа, слала тревожные письма. Жена Софья с детьми уехала на север — подальше от опасности.

Иван сидел у костра и смотрел на огонь. Перед ним стоял духовник, старый монах Вассиан Рыло, епископ Ростовский.

— Что медлишь, государь? — голос старца гремел, несмотря на возраст. — Чего ждешь? Ахмат границы жжет, людей в полон уводит, а ты стоишь?!

— Не лезь, отче, не твоего ума дело, — огрызнулся Иван.

— Моего! — Вассиан шагнул ближе. — Я за Русь душу положу! А ты? Смерти боишься? Так умри, но со славой! Не татар бойся, а Бога! Бегством не спасешься!

Иван встал. Старик был прав. Хуже смерти — позор. Он вышел из шатра, посмотрел на ту сторону реки. Там горели костры Орды.

— Завтра, — сказал он воеводам. — Если не уйдут — завтра бой.

Но боя не случилось.

Ночью ударил мороз. Река замерзла окончательно. Ахмат ждал литовской помощи, но Казимир так и не пришел — помешали крымские татары, союзники Москвы. Узнав, что русские готовы к бою, а литовцев нет, хан приказал отступить.

Орда ушла. Навсегда.

Иван стоял на высоком берегу и смотрел, как пустеет вражеский стан. К нему подошел сын, Иван Молодой.

— Батюшка, мы победили?

— Победили, сынок. Сто лет дани платили и хватит. Отныне мы вольные.

Так закончилось ордынское иго, длившееся два с половиной века.

Часть шестая. Строительство державы

1490-е годы. Москва. Кремль.

Иван стоял на паперти нового Успенского собора, построенного итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти. Рядом росли стены Грановитой палаты, поднимались башни, возводились новые храмы.

Москва менялась. Из деревянной становилась каменной. Из удельной — имперской.

Софья Палеолог стояла рядом, кутаясь в парчовую шубку.

— Смотри, Иван, — тихо сказала она. — Мой дядя, император Константин, мечтал о таком величии. Но Царьград пал. А Москва стоит.

— Будет стоять, — твердо ответил Иван. — Мы не отдадим ее никому.

Он думал о новом титуле, который уже начали употреблять в дипломатической переписке: «Государь всея Руси». О двуглавом орле, которого он позаимствовал у Византии. О том, что скоро нужно решать, кому передать власть...

Часть седьмая. Завещание

1505 год. Москва. Великокняжеские палаты.

Иван III лежал на смертном одре. Ему было шестьдесят пять — по тем временам глубокая старость. Рядом стоял сын Василий, которому он передавал власть. (Старший сын, Иван Молодой, умер несколькими годами ранее).

— Василий, — голос государя был слаб, но тверд. — Я оставляю тебе державу. Не просто Москву с волостями, а державу. От Пскова до Рязани, от Новгорода до Путивля. Собирай дальше. Бери Смоленск у Литвы, это наша исконная земля. С Казанью воюй, но с умом. С Крымом дружи. А главное — храни единство.

Василий склонился к руке отца.

— Сохраню, батюшка. Все сохраняю.

Иван прикрыл глаза. Перед внутренним взором пронеслись картины: юность в смутное время, первая жена, свадьба с Софьей, падение Новгорода, бегство татар с Угры, стук топоров на стройках Кремля...

— Я сделал, что мог, — прошептал он. — Теперь вы.

Он вздохнул в последний раз и закрыл глаза.

Эпилог. Третий Рим

Так ушел из жизни Иван III, которого потомки назовут Великим.

Он не был святым. Был жесток, расчетлив, иногда коварен. Ослеплял врагов, сажал в темницы родственников, давил мятежи железной рукой. Но он сделал то, что не удавалось никому до него: собрал русские земли в единый кулак, сбросил ненавистное иго и заложил основы того государства, которое мы называем Россией.

И когда через сто лет монах Филофей напишет знаменитые слова: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать», он будет писать их о державе, созданной именно Иваном III.

А над Москвой по-прежнему встает солнце, отражаясь в золотых куполах кремлевских соборов, и стены, построенные при Иване, все так же хранят покой столицы.

Историческая справка

Иван III Васильевич (1440—1505) — великий князь Московский с 1462 года. При нем:

- Прекращена выплата дани Орде (1480)
- Присоединены Новгород (1478), Тверь (1485), Вятка, часть черниговских земель
- Построен нынешний Московский Кремль (кирпичный)
- Принят новый герб — двуглавый орел
- Принят Судебник — первый общерусский свод законов
- Начато активное освоение Урала и Зауралья

Именно при Иване III родилась та Россия, которую мы знаем сегодня.

Иван Грозный!

Последняя псалтырь

Ночь накрыла Александровскую слободу тяжелым пологом. Февральский ветер выл в трубах, бросал в узкие слюдяные окна пригоршни колючего снега. В опричном дворце было тихо, лишь изредка бряцало оружие стражи да где-то далеко, в Девичьей башне, скулила спущенная с цепи медведица.

Царь Иван Васильевич не спал четвертую ночь.

Он сидел в своей опочивальне, в низком дубовом кресле с резными подлокотниками, источенными его ногтями за долгие годы. На нем был измятый шелковый зипун, на ногах — стоптанные сафьяновые сапоги. Перед ним на аналое лежала раскрытая Псалтырь, освещенная дрожащим огоньком одинокой свечи. Воск натекал на пергамент, но царь не замечал.

Он смотрел в стену. Там, на темной дубовой панели, расплывалось кровавое пятно. Никто, кроме него, его не видел. Оно появлялось всегда, когда он оставался один. Пятно росло, пульсировало, дышало.

— Господи, да что ж ты молчишь?! — вдруг закричал царь, вскакивая. Голос его сорвался на хрип. — Я тебе молитвы шепчу, я псалмы читаю, я монастыри ставлю! Я Русь собирал в кулак железный! А ты мне — молчание!

Он опрокинул аналой. Тяжелая книга грохнулась об пол, свеча погасла. В темноте пятно на стене стало видно еще отчетливей — оно светилось багровым, призрачным светом.

— Выходи! — заорал Иван, хватая с пояса нож. — Выходи, супостат! Малюта! Стража!

Дверь распахнулась. Вбежали трое опричников в черных рясах, поверх которых блестели кольчуги. Впереди — Малюта Скуратов, рыжий,

с собачьими глазами, преданными и злыми одновременно.

— Государь! Беда?!

Иван замер, тяжело дыша. Пятно исчезло. Вместо него на стене висел ковер с вышитым единорогом.

— Вон, — выдохнул царь. — Все вон. Малюта, останься.

Опричники исчезли быстрее, чем пятно. Малюта приблизился, поднял с пола Псалтырь, осторожно положил на лавку.

— Опять оно, батюшка? — спросил он тихо, по-свойски. Только Малюта мог позволить себе этот тон. Только он знал царскую душу, изъеденную червями страха и гнева.

— Не твое дело, — буркнул Иван, но не зло. Он устало опустился в кресло. — Скажи лучше, что в миру слышать? Как там... люди?

Малюта криво усмехнулся:

— Люди как люди. Шепчутся. Князь Владимир Андреевич опять недоволен, бояре нос воротят. В Новгороде смута зреет, говорят, хотят полякам ворота отворить.

Иван дернулся, как от удара:

— Новгород? Опять? Мало я их учил? Мало крови пустил? Псы... неблагодарные псы!

Он вскочил, заметался по горнице, цепляясь за стены:

— Я им державу строю! Я их от Орды отбил, я землю собрал! А они — шепчутся! За моей спиной! Хотят, чтобы Русь развалилась, чтобы волки пришли и кости грызли?!

— Не вели казнить, государь, — Малюта склонил голову, — но, может, и впрямь проучить? Чтоб неповадно было.

— Проучить! — Иван расхохотался, и смех его был страшен — сухой,

каркающий. — Ты, Малюта, только и знаешь, что проучить. Ты думаешь, мне кровь их сладка? Думаешь, я зверь?

Он вдруг схватил Малюту за грудки, притянул к себе, заглянул в глаза:

— А я не зверь! Я — царь! Мне Богом дано их судить и миловать. А они... они меня судят! Своими шепотками! Своими глазами! Ты видел, как они смотрят? Как на прокаженного!

— Боятся, батюшка, — спокойно ответил Малюта. — Страх — он порядок держит.

— Страх, — горько повторил Иван. — А любовь где? Где ласка? Где... Анастасия где?

Он отпустил Малюту, отошел к окну. Прижался лбом к ледяному стеклу.

— Она одна меня... человеком считала. Не царем — мужем. Ласкала, жалела. А как умерла... всё. Сорвалась цепь. И понесло меня, понесло...

Малюта молчал. Он знал, что сейчас лучше не вступать. Царь редко говорил о покойной царице Анастасии. Только в такие вот ночи, когда бесы грызли душу.

— А сына жалко, — вдруг тихо, почти неслышно, сказал Иван. — Иван... царевича. Умный, сильный. Живой. Такой же, как я. И глаза горят так же. Боюсь я за него, Малюта. Боюсь, что перерастет. Что трон захочет. Раньше времени.

Он обернулся. Лицо его в отблеске вновь зажженной свечи казалось восковым, старым, хотя было ему всего пятьдесят.

— Я ведь их всех люблю. Иродом меня кличут, а я люблю. Русь люблю. До хруста в костях, до боли в печени. А они... не понимают. Им бы волю, им бы вольницу боярскую. А вольница та — смерть. Растащат землю по кускам, как пирог на поминках.

В дверь постучали робко. Вошел отрок-постельничий, поклонился:

— Государь, там... митрополит приехал. Срочно, говорит. Гневен.

Иван усмехнулся:

— Филипп? Опять за правду приехал стоять? Зови.

Митрополит Филипп вошел быстро, не по-монашески решительно. Ряска его была в снегу, борода заиндевела, но глаза горели праведным гневом.

— Царь! — голос его гулко разнесся по опочивальне. — Доколе?! Доколе кровь лить будешь неповинную?! В Новгороде люди как скот забиты, по дорогам трупы валяются, псы человечину жрут! Опомнись!

— Опомниться? — Иван поднялся. В голосе его зазвенел металл. — Ты меня, владыка, учить пришел? Ты, кого я сам на митрополию поставил?

— Я пастырь, государь. Моя паства — люди русские. А ты их режешь, как овец!

— Я крамолу режу! — взорвался царь. — Я измену выжигаю каленым железом! А ты... ты за них? Ты с ними?

— Я с правдой! — Филипп не отступил ни на шаг. — А правда та: нет тебе прощения, царь, если не покаешься. Душа твоя чернее ночи, а руки по локоть в крови!

Иван замер. В глазах его метнулось что-то — то ли гнев, то ли боль. Он медленно подошел к митрополиту вплотную. Малюта положил руку на рукоять ножа.

— Спаситель наш, — тихо, почти ласково, сказал Иван, — тоже правду говорил. Иудеям. А они его — на крест.

Филипп выдержал его взгляд:

— Я готов. Мученическая смерть — она легче, чем видеть, как Русь гибнет под твоей рукой.

Повисла тишина. Слышно было, как за окном воет ветер и где-то далеко плачет ребенок — на женской половине.

Иван вдруг отшатнулся, закрыл лицо руками. Плечи его затряслись.

— Уйди, — глухо сказал он. — Уйди, владыка. Пока я... себя помню.

Филипп помедлил, перекрестил царя широким крестом и вышел, не оглядываясь.

Иван опустился на колени прямо на холодный пол. Поднял упавшую Псалтырь, прижал к груди, как ребенка.

— Господи, — шептал он, раскачиваясь. — Господи, прости. Не знаю я, что творю. Или знаю? Или знаю и всё равно творю? Где правда-то? Где она?

Малюта стоял в углу, не шевелясь. Ему было страшно. Не за себя — за царя. Таким он его еще не видел.

— Малюта, — позвал Иван, не поднимая головы. — А ведь он прав. Филипп-то. Прав, собака. И оттого зло меня берет. Что правда — она не за мной. Она — вон там, за дверью. А я здесь — с кровью, с ножами, с опричниной.

— Так и надо, государь, — тихо ответил Малюта. — Правда — она для монахов. Для ангелов. А мы здесь, на земле. Мы грешные.

— Грешные, — эхом отозвался Иван. Он поднялся, поцеловал Псалтырь, положил на аналой. — Убирайся и ты, Малюта. Спать хочу. Завтра... завтра решим, что с Новгородом.

Малюта поклонился и вышел.

Иван остался один. Он подошел к окну, отодвинул задвижку. Морозный воздух хлынул в горницу, задувая свечу. В темноте пятно на стене вспыхнуло с новой силой, за клубилось багровым туманом.

— Изыди, — устало сказал царь. — Изыди, сатана. Нет тебе надо мной власти. Пока я жив — нет.

Пятно не исчезло. Оно пульсировало в такт его сердцу. Иван смотрел на него, и в глазах его стояли слезы — злые, горькие, бессильные.

За окном занимался рассвет. Серый, холодный, нехотя пробивался сквозь тучи. Впереди был новый день. А впереди — новые казни, новые молитвы, новые ночи с призраками.

Иван Грозный закрыл окно, зажег свечу, раскрыл Псалтырь на псалме «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей» и начал читать. Голос его дрожал. Но он читал. Потому что кроме молитвы у него ничего не осталось. Только власть. И кровь. И эта вечная, проклятая правда, которая была не за ним.

Борис Годунов!

Шёл по Руси слух, что Годунов — царь не настоящий, а выбранный. Мол, и родом не вышел, и удачи в нём нет.

Жил в то время в Москве старый звонарь Ипат. Он ещё при Грозном царе на колокольне Иван Великий служил. Позвали его однажды в Кремль, к самому Борису.

Пришёл Ипат, шапку мнёт. Царь сидит на троне, уставший, глаза красные.

— Говорят, ты, Ипат, правду знаешь? — спрашивает царь. — Скажи мне, чего народ от меня ждёт? Чем им не угодил?

Осмелел звонарь, перекрестился на образа и говорит:

— Государь! Народ наш, как колокол. Пока в него бить не начнут, он молчит. А ударишь — гудит на всю округу. Ты, Борис Фёдорович, в колокол ударил громко. И надежду подал, и страх нагнал. Землю

от голода спасал, хлеб раздавал — это помнят. А как детишек в учение за море посылать надумал — за это тебя и невзлюбили.

— За доброе дело невзлюбили? — удивился Борис.

— А то! — махнул рукой старик. — Русский человек тишины хочет. А ты всё шевелишь. А ещё, государь, про Углич бают. И пока не рассудится то дело на небесах, на земле тебе покоя не будет. Как в колокол, который в Набатный прозвали, за то, что сослал его в ссылку за убийство царевича.

Замолчал Борис, насупился.

— Ступай, — говорит. — Правда твоя горька, да полезна.

Вышел Ипат от царя, а на паперти бояре стоят, зубы скалят: «Что, звонарь, наговорил царю? Долго ли ему ещё звонить осталось?»

Посмотрел на них Ипат, поглядел на небо, где туча чёрная набегала на солнце, и молвил:

— Вам бы, бояре, не зубы скалить, а свечи ставить. Звонить он будет... пока колокольня не рухнет. А за ним и мы все.

Лжедмитрий!

«Я мог бы править»

Мысли перед концом

За дверью кричат. Лязгает оружие, и в этом звоне мне слышится похоронный звон колоколов по всей моей жизни. Скоро они ворвутся сюда, в Кремль. Мои бояре. Мои подданные. Мой народ, который ещё утром кричал мне «здравия».

Я сижу у стола. На нём шахматы — фигуры разбросаны, как и моя судьба. Глупо. Всё это было глупо? Или слишком смело?

Кто я сейчас для них? Самозванец. Расстрига. Лжедмитрий. А кто я для самого себя?

Я помню себя Гришкой, мальчишкой в Чудовом монастыре. Я был жаден до знаний, жаден до жизни. Пока другие монахи бормотали псалмы, я выпытывал у книжников про латынь, про польский сейм, про то, как устроен мир за стенами Москвы. Мне шептали, что я горд, что бес в меня вселился. Нет. Во мне жила не гордыня — во мне жил голод. Голод по величию.

А потом была история про царевича. Про то, что Дмитрий, сын Грозного, чудом спасся в Угличе. Сначала это была просто легенда, которую я слышал краем уха. Но чем больше я думал, тем сильнее она вращалась в меня. А что, если бы я был им? Что, если бы судьба дала мне шанс?

И я сказал себе: «Будь им».

Я не крал чужое имя. Я его создал. Я вдохнул в него жизнь. Я так долго играл роль, что сам поверил в неё до дрожи. Я знал все тайны двора, я выучил манеры — я стал лучше любого Рюриковича, потому что мне было что терять. Мне нужно было доказывать каждую минуту.

В Польше, глядя в глаза Марине и сандомирскому воеводе, я чувствовал этот холодный расчет с их стороны. Они видели во мне пешку. Глупцы. Они не понимали, что пешка, дойдя до края доски, превращается в ферзя.

И я дошел.

Помню свой въезд в Москву. Народ падал ниц, плакал от счастья, ловил взгляд «истинного солнышка». И я, проходимец и беглый монах, чувствовал, что вот оно — моё. Я могу сделать эту страну другой. Я открыл двери для учёных, я говорил с народом по-простому, я хотел, чтобы они перестали быть быдлом, а стали подданными великой империи. Я был добр. Слишком добр.

Шуйский... эта хитрая лиса. Он точил на меня зуб с первого дня. Он распускал слухи, что я не чту православных обычаев, что я хожу в баню не по средам, что поляки при мне заполонили Кремль. Ерунда. Им было страшно не это. Им было страшно, что я — самозванец — окажусь умнее их, родовитых.

Я метался между двух огней: хотел казаться своим для поляков, чтобы получить помощь, и своим для Москвы, чтобы удержать власть. В итоге не стал своим ни для кого.

Сейчас, когда топот сапог слышен уже под самыми окнами, я понимаю одну страшную вещь: правда не имеет значения.

Был ли я Григорием? Да.

Почувствовал ли я себя Дмитрием? Да, как только надел шапку Мономаха. Её тяжесть делает любого царём.

Они убьют меня. Тело выволокут на Красную площадь, положат на стол с харями, наденут на мёртвую грудь маску скомороха. А потом сожгут и выстрелят пеплом из пушки, чтобы я, колдун и самозванец, не воскрес.

Глупые. Выстрелить в сторону Польши... Думаете, я воскресну там? Нет. Я воскресну в ваших детях, которые прочтут латинские книги. Я воскресну в вашей памяти как тот, кто посмел.

Дверь слетает с петель. Я встаю. В руке пицаль, но стрелять не буду. Слишком мало патронов, слишком много врагов.

Я улыбаюсь. Пусть запомнят меня улыбающимся.

— Я ваш царь! — кричу я им. Но в горле уже хрип.

Моё имя сотрут из летописей. Но легенда останется. Потому что история любит тех, кто играет по-крупному.

Иван Калита!

Мешок с серебром

Зимой 1340 года в Москве стояли лютые холода. Старый князь Иван Данилович уже не вставал с постели. В гриднице пахло воском, ладаном и той особой тяжелой тишиной, которая всегда предвещает уход большого человека.

Мне, дьяку Нестору, велено было записывать последнюю волю князя. Сидел я в углу, перо обмакивал в чернильницу и слушал, как за окном воет ветер, а в горнице хрипит умирающий властитель.

— Бояре меня волком величали, — вдруг произнес Иван Данилович, открывая глаза. — Тати ночные прозвали Калитой. Думают, что я мешок с деньгами собирал. А я, Нестор, Русь собирал.

Я замер. Князь редко говорил о сокровенном.

— В Орде был? — спросил он, хотя сам знал ответ. — Видел, как наши князья друг перед другом спину гнут? Тверской, рязанский... Каждый норовит ярлык урвать, хана задобрить, а сами друг друга режут. Кровь льется, а ордынцы лишь радуются.

Он замолчал, тяжело дыша. Я подвинулся ближе.

— Хан Узбек меня сперва за худородного держал. Мол, Москва — город новый, а князь — торгош. А я ему дань привез. Не как все — серебро вперемешку с криком, а тихо привез. Сполна. И сказал: «Повели, царь, чтобы русские сами дань собирали. Мы тебе привезем, сколько скажешь, а баскаков своих убери. Не позорь народ».

В горнице стало совсем тихо.

— И он поверил. Не потому, что я умный, а потому, что я исправный. Сорок лет тишины я у него вымолил. Сорок лет! — голос князя дрогнул. — А в это время... Ты думаешь, я мешок набивал? Я церкви ставил.

Каменные. Чтобы люди видели: есть у нас опора, есть у нас вера, есть у нас дом. В тот год, когда Тверь сожгли, я в Москву беженцев принял. Всех. Ребятишек малых кормил из того самого «кошеля».

Он приподнялся на локте и уставился на меня странным, горячечным взглядом.

— Скажут потом: Калита скупой был. А ты запиши: не для себя копил. Копил я силу. Чтобы сын мой Симеон, когда сядет на коня, уже не откупаться от Орды мог, а воевать с ней. Чтобы через двадцать, через пятьдесят лет пришел другой князь и сказал: «Довольно!» Понимаешь?

— Понимаю, княже, — прошептал я.

— Мешок... — усмехнулся Иван Данилович и откинулся на подушки. — Мешок этот — вся земля наша. Я ее за пояс заткнул, чтобы не рассыпалась.

Он закрыл глаза. Я думал, он уснул, но он прошептал еще тише:

— Пусть Калитой зовут. Мешок с серебром — это ведь тоже надежно. Хуже, если б меня Мечом прозвали. Меч ломается, а серебро... серебро и мир копит силу.

В ту ночь князь Иван умер. А наутро, когда я шел через Кремль, еще молодой, еще деревянный, я смотрел на свежевыбеленные стены Успенского собора и думал: сколько же надо было иметь в том мешке терпения, хитрости и любви к этой сырой, лесной земле, чтобы она, наконец, поверила в свое величие.

Вот так и вошел он в память — с тугим кошельком на поясе и с великой Русью в сердце.

Владимир Мономах!

Завет князя Владимира

Слушайте, люди русские, слово о князе Владимире Всеволодовиче, что прозван был Мономахом, внуком двух великих дедов — Ярослава Мудрого и Константина Мономаха, царя греческого.

Не в золоте и не в бархатах сила его была. А в том, что спал он на сырой земле, укрывшись конским потником, и в руках топор держал не хуже плотника. Бывало, выйдет на рассвете из шатра, а дружина еще с похмелья глаза трет. А он уже коня седлает. «Вставайте, — крикнет, — братья! Солнце высоко, а мы еще не били половцев!»

И вставали. И били.

Первый рассказ о том, как он мир добывал

В год 1097-й собрались князья в Любече, чтобы усобицу прекратить. Сидят вокруг стола, друг на друга волками смотрят. Каждый свое тянет. И тут встал Владимир, ростом невелик, но статью крепок, рука в мозолях, глаз острый.

— Братья, — молвил он. — Зачем губим Русскую землю? Половцы радуются, видя, как мы грыземся. Пусть каждый держит отчину свою, но будем заодно.

И предложил он крест целовать. Первым подошел к кресту, поцеловал и сказал: «Отныне земля Русская будет всем нам мать, а не мачеха». И хоть потом тот мир нарушили, слово его запало в души. Ибо сказано: где мир, там и Божья благодать.

Второй рассказ о том, как он бился

В году 1111-м повел Владимир князей в Дикое поле, в самое сердце половецкое. Дружина роптала: «Далече, страшно!» А Владимир им: «Если птенца орла боится, никогда не научится летать».

Шли они степью, снега талые месили. И пришли к городу Шаруканю. Попы шли впереди войска, пели молитвы. И пал на половцев страх великий, будто сам Господь ополчился на них. Разбили их тогда так, что

навек запомнили: не ходите на Русь, пока Мономах жив.

А после битвы не пировал князь, а пошел по шатрам раненых перевязывать. Своим и чужим помогал.

Третий рассказ о том, как он учил

Стал Владимир великим князем в Киеве. И написал он «Поучение» детям своим и всем, кто слушать станет. Сидел я как-то в гриднице, слышал, как чтец оглашал строки те.

«Дети мои, — писал он, — имейте страх Божий в сердце. Лениость — мать всем порокам. Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.

В дому своем не ложитесь спать, не оделив гостя и нищего.

Больного навестите, мертвеца проводите.

Жену свою любите, но не давайте ей над собою воли.

Всего же более чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел — простолюдин ли, знатный ли, посол ли, — угостите его едой и питьем. Ибо гости мимо идущие прославят человека по всем землям».

Я слушал и дивился. Не о том пекся князь, как казну пополнить, а о том, как душу спасти и Русь укрепить.

Конец сказа

В лето 1125-е поехал Владимир на реку Альту, на то место, где когда-то святой Борис убиен был. Стал там в маленьком тереме, на охоту собирався, да занемог. Почуял кончину, велел вынести себя на крыльцо, чтобы в последний раз солнце русское увидеть.

Сел на ступенях, обвел взглядом леса, поля и реку и сказал сыну своему Мстиславу:

— Вот имение мое. Береги его.

И отошел тихо, без мук и без страха, как и подобает воину, прожившему жизнь честно.

А на столе его, говорят, нашли листок, где его рукой было приписано к Поучению: «Смерти, дети, не бойтесь — ни от войны, ни от зверя. Делайте свое дело, как Бог вам велит. Ибо какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет?»

Таков был Владимир Мономах — красное солнце Киева, заступник земли Русской. И память о нем живет в народе, пока на Руси храмы стоят и матери детей учат добру.

Дом царской семьи!

Тени и короны: Триста лет дома Романовых

Этот рассказ — не просто перечисление дат и имен. Это попытка заглянуть за парадный портрет династии, увидеть её единство в череде трагедий и триумфов, услышать эхо шагов по коридорам истории.

Пролог. Смута и призвание (1613)

Зима 1613 года. Москва лежит в руинах после Смутного времени. Страна разорена, народ устал от самозванцев и интервентов. Земский собор в Кремле решает судьбу России. Взоры обращаются к 16-летнему Михаилу Федоровичу Романову. Он молод, неопытен, но он — племянник первого русского царя Федора Иоанновича, последнего из Рюриковичей. За ним стоит мощный клан бояр. Но главное — в нем видят символ конца смуты, начало новой, законной династии.

Михаил, укрывающийся с матерью в Ипатьевском монастыре под Костромой, долго отказывается от непомерного бремени власти. Когда делегация собора прибывает к нему, инокиня Марфа, его мать, рыдает и проклинает судьбу, пророча сыну тяжкий крест. Но выбора нет. Так начинается путь дома Романовых — со слез, молитвы и великой надежды.

Акт первый. Тишайший и первые Романовы (XVII век)

Михаил правит осторожно, опираясь на Земские соборы. Главная задача — восстановление страны. Рядом с ним — его отец, патриарх Филарет, фактический соправитель. Время первых Романовых — это время возвращения к жизни, время укрепления самодержавия.

Сын Михаила, Алексей Михайлович, войдет в историю как «Тишайший». Но его эпоха отнюдь не тиха. Это и Соляной бунт, и Медный бунт, и церковный раскол, разорвавший русское общество надвое. Именно при нем Россия делает первые, но уверенные шаги навстречу Западу, начинает ощущать себя великой державой. Его сын, Федор Алексеевич, правит недолго, но успевает отменить местничество — систему, веками сковывавшую государственную службу.

Акт второй. Империя и Пётр (конец XVII — начало XVIII века)

Смерть Федора обнажает страшную трещину в династии. Борьба кланов Милославских и Нарышкиных выливается в кровавый стрелецкий бунт на глазах у десятилетнего Петра. Это зрелище навсегда останется в его памяти, сформировав жестокость и неприязнь к старой Москве.

Сначала правит его сводная сестра Софья, умная и властная правительница. Но Петр, повзрослев, отстраняет её. Начинается эпоха тектонических сдвигов. Россия становится империей. Царь превращается в императора. Строятся флот, заводы, новая столица — Санкт-Петербург, окно в Европу. Но цена этого рывка чудовищна. Пётр не щадит ни себя, ни народ. Он собственноручно пытается мятежников, он подписывает смертный приговор собственному сыну Алексею. Династия оплачивает величие кровью.

Акт третий. Эпоха дворцовых переворотов (XVIII век)

Пётр умирает, не оставив завещания. Его реформы создали мощную империю, но расшатали сам принцип престолонаследия. Начинается «эпоха дворцовых переворотов». Страной правят женщины и дети, за спинами которых стоят гвардия и временщики.

Екатерина I, Меншиков. Пётр II, Долгорукие. Анна Иоанновна, Бирон. Это время немецкого засилья, интриг и борьбы за власть. Россия то замирает, то совершает великие дела, как при Анне, когда армия Миниха берет штурмом Крым.

И вот появляется Елизавета, дочь Петра Великого. Дочь, рожденная до брака, но сумевшая с помощью гвардии захватить трон. Её правление — время первого расцвета культуры, время Ломоносова, время отказа от жестокостей отца (отмена смертной казни). Но за блеском балов и красотой нарядов скрывается лень и нежелание заниматься государственными делами. Россия снова вязнет в фаворитизме.

Акт четвертый. Золотой век дворянства и тени Пугачева (вторая

половина XVIII века)

Елизавета умирает бездетной. Она привозит из Голштинии своего племянника Петра III, который вызывает всеобщую ненависть своим преклонением перед прусским королем Фридрихом. И тогда гвардия возводит на трон его жену — немку по происхождению, но русскую по духу — Екатерину II.

Начинается «Золотой век» русского дворянства. Империя расширяется на юг и запад, гремит слава Румянцева и Суворова. Эпоха Просвещения в России. Сама императрица пишет пьесы и переписывается с Вольтером. Но внутри страны — социальный ад. Крепостное право достигает своего пика. И грянул гром — восстание Пугачева, выдавшего себя за чудесно спасшегося мужа Екатерины, Петра III. Бунт потоплен в крови, но он показал династии, что пропасть между властью и народом, между «верхами» и «низами», стала смертельно опасной.

Акт пятый. Последний рывок империи (XIX век)

Сын Екатерины, Павел I, пытается всё переделать на свой лад. Он ненавидит мать и её порядки. Его правление коротко и трагично. Дворянство не выдерживает деспотизма и дисциплины. Павел убит заговорщиками в собственной спальне. Его сын, Александр I, знает о заговоре. Его мучает вина. Он мечтает о реформах, о конституции, но время требует другого. Европа охвачена пожаром наполеоновских войн. Россия выстоит. В 1812 году она не просто победит — она спасет Европу. Александр становится властелином континента. Но внутри — аракчеевщина, военные поселения, разочарование. Он уходит, по легенде, не умирая, а становясь старцем.

Эпоха Николая I — эпоха замороженной империи. Он боится перемен, как огня. Он давит восстание декабристов (дворян, вышедших на Сенатскую площадь, чтобы ограничить самодержавие), создает Третье отделение, цензуру. Но именно при нем строится первая железная дорога, систематизируются законы. Империя кажется незыблемой, как гранит. Но Крымская война показывает: Россия отстала, технически

и социально. Николая убивает не пуля, а позор поражения.

Акт шестой. Реформатор и миротворец (вторая половина XIX века)

Александр II вступает на престол с горьким осадком Крымской войны. Он понимает: так жить нельзя. 19 февраля 1861 года – отмена крепостного права. Эпоха Великих реформ: суд присяжных, земство, всеобщая воинская повинность. Это величайший прорыв со времен Петра. Но реформы половинчаты. Крестьяне получают свободу, но не землю. Радикалы (народовольцы) недовольны. Начинается охота на царя. Пять покушений. 1 марта 1881 года бомба Игнатия Гриневицкого обрывает жизнь царя-Освободителя на набережной Екатерининского канала. Трагедия династии в том, что она постоянно опаздывает.

Его сын, Александр III, понимает это по-своему. Он берет империю в железный кулак. Контрреформы, политика русификации, укрепление самодержавия. Но внешняя политика миролюбива. За 13 лет его правления Россия не ведет ни одной войны. Страна копит силы. Александр умирает молодым, оставляя трон своему старшему сыну – Николаю.

Эпилог. Крах (XX век)

Николаю II суждено стать последним. Он добрый семьянин, глубоко верующий человек, но слабый и нерешительный политик. Он верит, что самодержавие дано ему Богом и менять ничего нельзя. Судьба словно испытывает его на прочность: Ходынка, Кровавое воскресенье, Русско-японская война, революция 1905 года, Столыпинские реформы, и наконец — Первая мировая война.

Николай принимает на себя командование армией, оставляя тыл на императрицу Александру Федоровну и «старца» Распутина. Это разрушает последние остатки доверия к династии. Страна устала от войны, от разрухи, от безвластия.

Февраль 1917 года. В Петрограде начинаются перебои с хлебом, потом забастовки. Николай в Ставке, в Могилеве. Он пытается выехать в столицу, но поезд останавливают. Генералы, те, кто должны были защищать престол, просят его отречься. Во имя спасения России от смуты.

2 (15) марта 1917 года в вагоне императорского поезда на станции Дно Николай II подписывает отречение от престола за себя и за сына, цесаревича Алексея. Трехсотлетняя история династии Романовых заканчивается не в Кремле и не в Зимнем дворце, а в маленьком вагоне посреди железнодорожных путей.

Семью отправляют в ссылку сначала в Тобольск, потом в Екатеринбург. В подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года они приняли мученическую смерть. Страна, которую они строили три века, не смогла их защитить.

Дом Романовых, давший России великих реформаторов и консерваторов, строителей империи и её последних хранителей, ушел

в историю, оставив после себя вопросы, на которые каждый ищет свои ответы. Их путь от Ипатьевского монастыря до Ипатьевского дома стал трагическим кольцом русской истории.

О Великом Новгороде!

СКАЗКА

В одном далеком-далеком времени, когда реки были полны рыбы, а леса — зверя, на холме у синего озера Ильмень поселились люди. Место это было красивое, но дикое. И решили люди построить город, да не простой, а такой, чтобы стоял он вечно.

Долго они думали, где поставить первую стену. И тут мальчик Ондрей, сын рыбака, показал на маленький островок посреди Волхова.

— Смотрите, — сказал он, — там лисица сидит, а в лапах у нее что-то блестит.

Подплыли люди к островку, а это не лисица вовсе, а огненная куница пробежала, и обронила искру. На том месте, где искра упала, вырос тонкий, как стрела, дубок.

— Здесь и заложим крепость, — решил старейшина. — А назовем ее Новым Городом.

С тех пор прошла тысяча лет. Город рос не по дням, а по часам. Купцы из заморских стран приплывали по Волхову, дивились на белокаменные стены и золотые купола. А над всем городом парил дух вольности. Каждый новгородец знал: он не слуга князю, а полноправный хозяин земли своей. И звучал на главной площади вечевой колокол, созывая всех на совет.

Говорят, тот самый огненный дубок, с которого все началось, до сих пор растет где-то в тайных садах Детинца (Кремля). Кто его найдет и листочек сорвет, тот обретет мудрость предков и смелость купцов-ушкуйников, что на своих ладьях до самого Студеного моря доплывали.

ОТ ЛИЦА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Я стоял на мосту через реку Волхов. Слева от меня — древний Детинец с громадой Софийского собора, чей купол сиял, как шлем былинного богатыря. Справа — Ярославово дворище и Торг, где когда-то кипела жизнь всего севера Руси. Казалось, что сама история течет здесь вместе с водой, омывая мощные стены из красного кирпича и известняка.

Трудно представить, но когда Москва была еще маленькой деревушкой, Новгород уже был могучей республикой. Сюда приезжали купцы из Ганзейского союза, отсюда уходили в походы смелые первопроходцы. В Софийском соборе я прикоснулся к каменным стенам, помнящим руки князя Владимира и Ярослава Мудрого. Внутри — полумрак и древние фрески, глядящие на тебя глазами святых из глубины веков.

Но самое сильное впечатление произвела на меня берестяная грамота в музее. Простой кусок бересты, на котором мальчик Онфим тысячу лет назад учился писать буквы и рисовал всадников. В этот момент я понял главное: Великий Новгород — это не просто город-крепость. Это город, где каждый человек, от князя до простого мальчишки, чувствовал себя частью великой истории и имел право голоса. Город, который научил Русь грамоте и торговле, город, который был и остаётся истоком нашей государственности.

.

.КОРОТКАЯ ЗАРИСОВКА

В Великом Новгороде время течет иначе. Оно не бежит, а величаво плывет, как ладьи по Волхову. Идешь по мостовой, слышишь цоканье каблуков, а в ушах стоит гул вечного колокола. Смотришь на купола, и кажется, что вот-вот из-за угла выйдет Садко с гусярами.

Это город, где под ногами, в земле, лежат десятки берестяных писем — чьи-то забытые мысли, любовные записки, долговые расписки. История здесь не в музеях, а прямо под ногами. Она в трещинах

на древних стенах, в бликах солнца на воде, в тишине Юрьева монастыря. Приезжаешь сюда уставшим путником, а уезжаешь немного мудрее и спокойнее, словно прикоснулся к самому сердцу России.